



**ВАДИМ
КОЖИНОВ**

**ПРАВДА
СТАЛИНСКИХ
РЕПРЕССИЙ**

Великая чистка 1937 года

Вадим Кожин

Правда сталинских репрессий

«Алисторус»

1999

УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)6

Кожин В. В.

Правда сталинских репрессий / В. В. Кожин — «Алисторус»,
1999 — (Великая чистка 1937 года)

ISBN 978-5-906914-81-1

Эту книгу Вадима Кожина, как и другие его работы, отличает неординарность суждений и неожиданность выводов. С фактами и цифрами в руках он приступил к исследованию тем, на которые до сих пор наложено демократическое табу: о роли евреев в истории Советского Союза, об истинных причинах сталинских репрессий. Продолжая историософскую традицию Толстого, автор настаивает: миропорядок определяется не волеизъявлениями «вождей», а «сложнейшим и противоречивым взаимодействием различных общественных сил». Более того, роль властей предрержащих сводится лишь к запоздалому реагированию на объективно сложившуюся в стране и в мире ситуацию. Цель исследования — не оправдание репрессий, а поиск великого смысла и логики истории.

УДК 94(47+57)

ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-906914-81-1

© Кожин В. В., 1999

© Алисторус, 1999

Содержание

От редакции	6
Глава 1	8
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Вадим Кожин
Правда сталинских репрессий

© Ермилова Е.В., 2013

© ООО «Издательство Алгоритм», 2013

От редакции

Когда говорят о сталинских репрессиях, то рассуждают обычно о том, кто больше в них пострадал: старая партийная гвардия и дети Арбата либо «бывшие» офицеры, дворянство, священство и простые русские мужики. Спорят и о том, кто виноват в репрессиях, был ли осведомлен о них Сталин, и если да, то насколько.

Но мало кто спросит: за что? За что Бич Божий в лице Сталина опустился на плечи покоренных ему народов?

Скоро минует сто лет с того черного дня, когда рухнула в небытие Российская империя, но до сих пор одни вполне серьезно считают, что барон Врангель, адмирал Колчак и генерал Деникин готовили «нам царский трон» – реставрацию самодержавия в России с поголовной поркой трудового элемента.

А другие так же серьезно считают, что у красных комиссаров в пыльных шлемах всем заправляли иудеомасоны никак не ниже 31 градуса посвящения, с которыми самоотверженно боролась Белая гвардия.

Вадим Кожин разочарует и тех и других, но порадует любителей исторической правды. Он убедительно показал, что белые не были монархистами, а красным, мягко выражаясь, был безразличен «трудовой народ». И тех и других вели за собой интересы, далекие от подлинных интересов Российского государства и русского народа.

Такие деятели Белого движения, как генералы Алексеев и Рузский, являлись не только участниками заговора против Монарха, но и высокопоставленными масонами. Их единомышленниками были Деникин, Корнилов, Колчак. Корнилов лично арестовал Императрицу и детей Государя.

Командующий Донской армией генерал Денисов свидетельствует: «На знаменах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, то есть то же самое, что значилось и на знаменах Февральской революции...» А генерал Деникин готов был «благословить» любое жестокое насилие (над русским народом), если оно завершится установлением в России власти парламента.

Если в Белом движении главной составляющей политического руководства были масоны, то на красной стороне такую же роль играли иудеи. Достаточно взглянуть на списочный состав советского правительства в первые годы после революции, чтобы в этом убедиться. Разрушительная роль этих людей для России и русского народа сопоставима разве что с атомной бомбардировкой.

«Таким образом, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между "новой" и "старой" властями, это была борьба двух "новых" властей – Февральской и Октябрьской», – пишет Кожин. Наглядным подтверждением этого уродливого симбиоза был капитан Зиновий Пешков, главный советник генерала Жанена, французского представителя при адмирале Колчаке, и по совместительству масон и младший брат Якова Свердлова, непосредственно замешанного в убийстве Императора Николая II и его семьи.

Но кроме белых и красных в этой трагедии есть еще одно действующее лицо – русский народ в самом широком смысле этого слова.

Да. Виноваты все. Нельзя без жуткого содрогания читать, как из зала заседаний Священного Синода сразу после отречения Императора выносят Его портрет и ставят в коридоре вверх ногами. Ведь кто-то да должен был за это ответить. Ответил весь русский народ, белые и красные, зеленые и нейтральные. Ответил так, что мало никому не показалось. Ответил за отступление от Бога и Царя, за нарушение присяги, за смерть невинных детей в кровавом подвале Ипатьевского дома, за плевки в лицо своей Родине.

То, что предстоит платить по счетам, самые прозорливые поняли сразу. Один из руководителей черносотенного движения, Б.В. Никольский, писал: «Царствовавшая династия кончилась... Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом...» Не прошло и десяти лет, как предсказанный им Бонапарт Русской революции явился грозным мстителем всем разрушителям исторической России.

Можно сколь угодно долго спорить о роли Сталина в истории, но, прочитав книгу В. Кожина, уже не усомнишься в правде сталинских репрессий. Суд Божий иногда вершится странным путем.

Глава 1

Что же в действительности произошло в 1917 году?

На этот вопрос за восемьдесят лет были даны самые различные, даже прямо противоположные ответы, и сегодня они более или менее знакомы внимательным читателям. Но остается почти неизвестной либо преподносится в крайне искаженном виде точка зрения черносотенцев, их ответ на этот нелегкий вопрос.

Черносотенцы, не ослепленные иллюзорной идеей прогресса, задолго до 1917 года ясно предвидели действительные плоды победы Революции, далеко превосходя в этом отношении каких-либо иных идеологов (так, член Главного совета Союза русского народа П.Ф. Булацель провидчески – хотя и тщетно – взывал в 1916 году к либералам: «Вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан»). Естественно предположить, что и непосредственно в 1917-м, и в последующих годах «черносотенцы» глубже и яснее, чем кто-либо, понимали происходящее, и потому их суждения имеют первостепенное значение.

Начать уместно с того, что сегодня явно господствует мнение о большевистском перевороте 25 октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения Русского государства, который, в свою очередь, привел к многообразным тяжелейшим последствиям, начиная с распада страны. Но это заведомая неправда, хотя о ней вещали и вещают многие влиятельные идеологи. Гибель Русского государства стала необратимым фактом уже 2(15) марта 1917 года, когда был опубликован так называемый «приказ № 1». Он исходил от Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Петроградского – по существу Всероссийского – Совета рабочих и солдатских депутатов, где большевики до сентября 1917 года ни в коей мере не играли руководящей роли; непосредственным составителем «приказа» был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат Н.Д. Соколов (1870–1928), сделавший еще в 1900-х годах блистательную карьеру на многочисленных политических процессах, где он главным образом защищал всяческих террористов. Соколов выступал как «внефракционный социал-демократ».

«Приказ № 1», обращенный к армии, требовал, в частности, «немедленно выбрать комитеты из выборных представителей (торопливое составление текста привело к назойливому повтору: "выбрать... из выборных". – *В.К.*) от нижних чинов... Всякого рода оружие... должно находиться в распоряжении... комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам... Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане...» и т. д.

Если вдуматься в эти категорические фразы, станет ясно, что дело шло о полнейшем уничтожении созданной в течение столетий армии – станового хребта государства; одно уже демагогическое положение о том, что «свобода» солдата не может быть ограничена «ни в чем», означало ликвидацию самого института армии. Не следует забывать к тому же, что «приказ» отдавался в условиях грандиозной мировой войны и под ружьем в России было около одиннадцати миллионов человек; кстати, последний военный министр Временного правительства А.И. Верховский свидетельствовал, что «приказ № 1» был отпечатан «в девяти миллионах экземпляров»!

Для лучшего понимания ситуации следует обрисовать обстоятельства появления «приказа». 2 марта Соколов явился с его текстом, который уже был опубликован в утреннем выпуске «Известий Петроградского Совета», перед только что образованным Временным правительством. Один из его членов, В.Н. Львов, рассказал об этом в своем мемуаре, опубликованном вскоре же, в 1918 году: «...быстрыми шагами к нашему столу подходит Н.Д. Соколов и просит нас познакомиться с содержанием принесенной им бумаги... Это был знаменитый приказ номер первый... После его прочтения Гучков (военный министр. – *В.К.*) немедленно заявил, что приказ... немислим, и вышел из комнаты, Милуков (министр иностранных дел. – *В.К.*)

стал убеждать Соколова в совершенной невозможности опубликования этого приказа (он не знал, что газету с его текстом уже начали распространять. – *В.К.*)... Наконец и Милюков в изнеможении встал и отошел от стола... я (то есть В.Н. Львов, обер-прокурор Синода. – *В.К.*) вскочил со стула и со свойственной мне горячностью закричал Соколову, что эта бумага, принесенная им, есть преступление перед родиной... Керенский (тогда – министр юстиции, с 5 мая – военный министр, а с 8 июля – глава правительства. – *В.К.*) подбежал ко мне и закричал: "Владимир Николаевич, молчите, молчите!" затем схватил Соколова за руку, увел его быстро в другую комнату и запер за собой дверь...»

А став 5 мая военным министром, Керенский всего через четыре дня издал свой «Приказ по армии и флоту», очень близкий по содержанию к Соколовскому; его стали называть «декларацией прав солдата». Впоследствии генерал А.И. Деникин писал, что «эта "декларация прав"... окончательно подорвала все устои армии». Впрочем, еще 16 июля 1917 года, выступая в присутствии Керенского (тогда уже премьера), Деникин не без дерзости заявил: «Когда повторяют на каждом шагу (это, кстати, характерно и для наших дней. – *В.К.*), что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие...» Не считая, по-видимому, «тактичным» прямо назвать имена виновников, генерал сказал далее: «Развалило армию военное законодательство последних месяцев» (цит. изд., с. 114); присутствующие ясно понимали, что «военными законодателями» были Соколов и сам Керенский (кстати, в литературе есть неправильные сведения, что Деникин будто бы все же назвал тогда имя Керенского).

Но нельзя не сказать, что «прозрение» Деникина фатально запоздало. Ведь согласился же он 5 апреля (то есть через месяц с лишним после опубликования приказа № 1) стать начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 31 мая (то есть вслед за появлением «декларации прав солдата») – главнокомандующим Западным фронтом. Лишь 27 августа генерал порвал с Керенским, но армии к тому времени уже, в сущности, не было...

Необходимо взглянуть в фигуру Соколова. Ныне о нем знают немногие. Характерно, что в изданном в 1993 году биографическом словаре «Политические деятели России. 1917» статьи о Соколове нет, хотя там представлено более 300 лиц, сыгравших ту или иную роль в 1917 году (большинство из них с этой точки зрения значительно уступают Соколову). Впрочем, и в 1917 году его властное воздействие на ход событий казалось не вполне объяснимым. Так, автор созданного по горячим следам и наиболее подробного рассказа о 1917 годе (и сам активнейший деятель того времени) Н.Н. Суханов-Гиммер явно удивлялся, как он писал, «везде бывавшему и все знающему Н.Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции». Лишь гораздо позднее стало известно, что Соколов, как и Керенский, был одним из руководителей российского масонства тех лет, членом его немногочисленного «Верховного совета» (Суханов, кстати сказать, тоже принадлежал к масонству, но занимал в нем гораздо более низкую ступень). Нельзя не отметить также, что Соколов в свое время положил начало политической карьере Керенского (тот был одиннадцатью годами моложе), устроив ему в 1906 году приглашение на громкий процесс над прибалтийскими террористами, после которого этот тогда безвестный адвокат в одночасье стал знаменитостью.

Выдвигая «приказ № 1», Соколов, разумеется, не предвидел, что его детище менее чем через четыре месяца в буквальном смысле ударит по его собственной голове. В июне Соколов возглавил делегацию ЦИК на фронт. «В ответ на убеждение не нарушать дисциплины солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее», – рассказывал тот же Суханов; Соколова отправили в больницу, где он «лежал... не приходя в сознание несколько дней... Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку – "чалму" – на голове» (там же, т. 2, с. 309).

Между прочим, на это событие откликнулся поэт Александр Блок. 29 мая он встречался с Соколовым и написал о нем: «...остервенелый Н.Д. Соколов, по слухам, автор приказа № 1», а 24 июня – пожалуй, не без иронии – отметил: «В газетах: "темные солдаты" побили Н.Д.

Соколова» (там же, т. 7, с. 269). Позже, 23 июля, Блок делает запись о допросе в «Чрезвычайной следственной комиссии» при Временном правительстве виднейшего черносотенца Н.Е. Маркова: «Против Маркова... сидит Соколов с завязанной головой... лает вопросы... Марков очень злится...»

Соколов, как мы видим, был необычайно энергичен, а круг его деятельности – исключительно широк. И таких людей в российском масонстве того времени было достаточно много. Вообще, говоря о Февральском перевороте и дальнейшем ходе событий, никак невозможно обойтись без «масонской темы». Эта тема особенно важна потому, что о масонстве еще до 1917 года немало писали и говорили черносотенцы; в этом, как и во многом другом, выразилось их превосходство над любыми тогдашними идеологами, которые «не замечали» никаких признаков существования масонства в России или даже решительно оспаривали суждения на этот счет черносотенцев, более того – высмеивали их.

Только значительно позднее, уже в эмиграции, стали появляться материалы о российском масонстве – скупые признания его деятелей и наблюдения близко стоявших к ним лиц; впоследствии, в 1960–1980 годах, на их основе был написан ряд работ эмигрантских и зарубежных историков. В СССР эта тема до 1970-х годов, в сущности, не изучалась (хотя еще в 1930 году были опубликованы весьма многозначительные – пусть и предельно лаконичные – высказывания хорошо информированного В.Д. Бонч-Бруевича).

Рассказать об изучении российского масонства XX века необходимо, между прочим, и потому, что многие сегодня знают о нем, но знания эти обычно крайне расплывчаты или просто ложны, представляя собой смесь вырванных из общей картины фактов и досужих вымыслов.

А между тем за последние два десятилетия это масонство изучалось достаточно успешно и вполне объективно.

Первой работой, в которой был всерьез поставлен вопрос об этом масонстве, явилась книга Н.Н. Яковлева «1 августа 1914», изданная в 1974 году. В ней, в частности, цитировалось признание видного масона, кадетского депутата Думы, а затем комиссара Временного правительства в Одессе Л.А. Велихова: «В 4-й Государственной думе (избрана в 1912 году. – В.К.) я вступил в так называемое масонское объединение, куда входили представители от левых прогрессистов (Ефремов), левых кадетов (Некрасов, Волков, Степанов), трудовиков (Керенский), с-д. меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев) и которое ставило своей целью блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия» (указ. изд., с. 234).

И к настоящему времени неопровержимо доказано, что российское масонство XX века, начавшее свою историю еще в 1906 году, явилось решающей силой Февраля прежде всего именно потому, что в нем слились воедино влиятельные деятели различных партий и движений, выступавших на политической сцене более или менее разрозненно. Скрепленные клятвой перед своим и одновременно высокоразвитым западноевропейским масонством (о чем еще пойдет речь), эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели – от октябристов до меньшевиков – стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию.

Наиболее плодотворно исследовал российское масонство XX века историк В.И. Старцев, который вместе с тем является одним из лучших исследователей событий 1917 года в целом. В ряде его работ, первая из которых вышла в свет в 1978 году, аргументированно раскрыта истинная роль масонства. Содержательны и страницы, посвященные российскому масонству XX века в книге Л.П. Замойского (см. библиографию в примечаниях).

Позднее, в 1986 году, в Нью-Йорке была издана книга эмигрантки Н.Н. Берберовой «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия», опирающаяся, в частности, и на исследования В.И. Старцева (Н.Н. Берберова сама сказала об этом на 265–266 стр. своей книги – не называя, правда, имени В.И. Старцева, чтобы не «компрометировать» его). С другой стороны, в

этой книге широко использованы, в сущности, недоступные тогда русским историкам западные архивы и различные материалы эмигрантов. Но надо прямо сказать, что многие положения книги Н.Н. Берберовой основаны на не имеющих действительной достоверности записках и слухах, и вполне надежные сведения перемешаны с по меньшей мере сомнительными (о некоторых из них еще будет сказано).

Работы В.И. Старцева, как и книга Н.Н. Яковлева, с самого момента их появления и вплоть до последнего времени подвергались очень резким нападкам; историков обвиняли главным образом в том, что они воскрешают черносотенный миф о масонах (особенно усердствовал «академик И.И. Минц»). Между тем историки с непреложными фактами в руках доказали (вольнo или невольнo), что «черносотенцы» были безусловно правы, говоря о существовании деятельнейшего масонства в России и об его огромном влиянии на события, хотя при всем при том В.И. Старцев – и вполне понятно, почему он это делал, – не раз «отмежевывался» от проклятых черносотенцев.

Нельзя, правда, не оговорить, что в черносотенных сочинениях о масонстве очень много неверных и даже фантастических моментов. Однако ведь в те времена масоны были самым тщательным образом законспирированы; российская политическая полиция, которой еще П.А. Столыпин дал указание расследовать деятельность масонства, не смогла добыть о нем никаких существенных сведений. Поэтому странно было бы ожидать от черносотенцев точной и непротиворечивой информации о масонах. По-настоящему значителен уже сам по себе тот факт, что «черносотенцы» осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России.

Решающая его роль в Феврале обнаружилась со всей очевидностью, когда – уже в наше время – было точно выяснено, что из 11 членов Временного правительства первого состава 9 (кроме А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова) были масонами. В общей же сложности на постах министров побывало за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к масонству!

Ничуть не менее важен и тот факт, что в тогдашней «второй власти» – ЦИК Петроградского Совета – масонами являлись все три члена президиума: А.Ф. Керенский, М.И. Скобелев и Н.С. Чхеидзе – и два из четверых членов Секретариата: К.А. Гвоздев и уже известный нам Н.Д. Соколов (двое других секретарей Совета – К.С. Гриневич-Шехтер и Г.Г. Панков – не играли первостепенной роли). Поэтому так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве, и в Совете заправляли люди «одной команды»...

Представляет особенный интерес тот факт, что трое из шести членов Временного правительства, которые не принадлежали к масонству (во всяком случае, нет бесспорных сведений о такой принадлежности), являлись наиболее общепризнанными, «главными» лидерами своих партий: это А.И. Гучков (октябрист), П.Н. Милюков (кадет) и В.М. Чернов (эсер). Не был масоном и «главный» лидер меньшевиков Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум). Между тем целый ряд других влиятельнейших – хотя и не самых популярных – лидеров этих партий занимал высокое положение и в масонстве: например, октябрист С.И. Шидловский, кадет В.А. Маклаков, эсер Н.Д. Авксентьев, меньшевик Н.С. Чхеидзе (и, конечно, многие другие).

Это объясняется, на мой взгляд, тем, что такие находившиеся еще до 1917 года под самым пристальным вниманием общества и правительства лица, как Гучков или Милюков, легко могли быть разоблачены, и их не ввели в масонские «кадры» (правда, некоторые авторы объясняют их непричастность к масонству тем, что тот же Милюков, например, не хотел подчиняться масонской дисциплине). Н.Н. Берберова пыталась доказать, что Гучков все же принадлежал к масонству, но ее доводы недостаточно убедительны. Однако вместе с тем В.И. Старцев совершенно справедливо говорит, что Гучков «был окружен масонами со всех сторон» и что, в частности, заговор против царя, приготавливавшийся с 1915 года, осуществляла «группа Гучкова, в которую входили виднейшие и влиятельнейшие руководители российского политиче-

ского масонства Терещенко и Некрасов..., и заговор этот был все-таки масонским» («Вопросы истории», 1989, № 6, с. 44).

Подводя итог, скажу об особой роли Керенского и Соколова, как я ее понимаю. И для того, и для другого принадлежность к масонству была гораздо важнее, чем членство в каких-либо партиях. Так, Керенский в 1917 году вдруг перешел из партии «трудовиков» в эсеры, Соколов же, как уже сказано, представлялся «внефракционным» социал-демократом. А вторых, для Керенского, сосредоточившего свою деятельность во Временном правительстве, Соколов был, по-видимому, главным сподвижником во «второй» власти – Совете. Многие говорят позднейшие (1927 года) признания Н.Д. Соколова о необходимости масонства в революционной России: «...радикальные элементы из рабочих и буржуазных классов не смогут с собой сговориться о каких-либо общих актах, выгодных обеим сторонам... Поэтому... создание органов, где представители таких радикальных элементов из рабочих и не рабочих классов могли бы встречаться на нейтральной почве... очень и очень полезно...» Ион, Соколов, «давно, еще до 1905 г., старался играть роль посредника между социал-демократами и либералами».

* * *

Масонам в Феврале удалось быстро разрушить государство, но затем они оказались совершенно бессильными и менее чем через восемь месяцев потеряли власть, не сумев оказать, по сути дела, ровно никакого сопротивления новому, Октябрьскому, перевороту. Прежде чем говорить о причине бессилия героев Февраля, нельзя не коснуться господствовавшей в советской историографии версии, согласно которой переворот в феврале 1917 года был якобы делом петроградских рабочих и солдат столичного гарнизона, будто бы руководимых к тому же главным образом большевиками.

Начну с последнего пункта. Во время переворота в Петрограде почти не было сколько-нибудь влиятельных большевиков. Поскольку они выступали за поражение в войне, они вызвали всеобщее осуждение и к февралю 1917 года пребывали или в эмиграции в Европе и США, или в далекой ссылке, не имея сколько-нибудь прочной связи с Петроградом. Из 29 членов и кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 года), ни один не находился в февральские дни в Петрограде! И сам Ленин, как хорошо известно, не только ничего не знал о готовящемся перевороте, но и ни в коей мере не предполагал, что он вообще возможен.

Что же касается массовых рабочих забастовок и демонстраций, начавшихся 23 февраля, они были вызваны недостатком и невиданной дороговизной продовольствия, в особенности хлеба, в Петрограде. Но дефицит хлеба в столице был, как следует из фактов, искусственно организован. В исследовании Т.М. Китаниной «Война, хлеб, революция (продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917)», изданном в 1985 году в Ленинграде, показано, что «излишек хлеба (за вычетом объема потребления и союзных поставок) в 1916 г. составил 197 млн пуд.» (с. 219); исследовательница ссылается, в частности, на вывод А.М. Анфимова, согласно которому «Европейская Россия вместе с армией до самого урожая 1917 г. могла бы снабжаться собственным хлебом, не исчерпав всех остатков от урожаев прошлых лет» (с. 338). И в уже упомянутой книге Н.Н. Яковлева «1 августа 1914» основательно говорится о том, что заправилы Февральского переворота «способствовали созданию к началу 1917 года серьезного продовольственного кризиса... Разве не прослеживается синхронность – с начала ноября резкие нападки (на власть. – В.К.) в Думе и тут же крах продовольственного снабжения!» (с. 206).

Иначе говоря, «хлебный бунт» в Петрограде, к которому вскоре присоединились солдаты «запасных полков», находившихся в столице, был специально организован и использован главарями переворота.

Не менее важно и другое. На фронте постоянно испытывали нехватку снарядов. Однако к 1917 году на складах находилось 30 миллионов (!) снарядов – примерно столько же, сколько было всего истрачено за 1914–1916 годы (между прочим, без этого запаса артиллерия в Гражданскую войну 1918–1920 годов, когда заводы почти не работали, вынуждена была бы бездействовать...). Если учесть, что начальник Главного артиллерийского управления в 1915 – феврале 1917 г. А.А. Маниковский был масоном и близким сподвижником Керенского, ситуация становится ясной; факты эти изложены в упомянутой книге Н.Н. Яковлева (см. с. 195–201).

То есть и резкое недовольство в армии, и хлебный бунт в Петрограде, в сущности, были делом рук «переворотчиков». Но этого мало. Фактически руководивший армией начальник штаба Верховного главнокомандующего (то есть Николая II) генерал М.В. Алексеев не только ничего не сделал для отправления 23–27 февраля войск в Петроград с целью установления порядка, но и, со своей стороны, использовал волнения в Петрограде для самого жесткого давления на царя и, кроме того, заставил его поверить, что вся армия – на стороне переворота.

Н.Н. Берберова в своей книге утверждает, что Алексеев сам принадлежал к масонству. Это вряд ли верно (хотя бы потому, что для военнослужащих вступление в тайные организации являлось, по существу, преступным деянием). Но вместе с тем находившийся в Ставке Верховного главнокомандующего военный историк Д.Н. Дубенский свидетельствовал в своем изданном еще в 1922 году дневнике-воспоминаниях: «Генерал Алексеев пользовался... самой широкой популярностью в кругах Государственной Думы, с которой находился в полной связи... Ему глубоко верил Государь... генерал Алексеев мог и должен был принять ряд необходимых мер, чтобы предотвратить революцию... У него была вся власть (над армией. – В.К.)... К величайшему удивлению... с первых же часов революции выявилась его преступная бездеятельность...» (цит. по кн.: Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. – Л., 1927, с. 43).

Далее Д.Н. Дубенский рассказывал, как командующий Северным фронтом генерал Н.В. Рузский (Н.Н. Берберова тоже не вполне обоснованно считает его масоном) «с цинизмом и грубой определенностью» заявил уже 1 марта: «...надо сдаваться на милость победителю». Эта фраза, писал Д.Н. Дубенский, «все уяснила и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот» (с. 61). И историк вспоминал, как уже 2 марта близкий к черносотенцам генерал-адъютант К.Д. Нилов назвал Алексеева «предателем», и сделал такой вывод: «... масонская партия захватила власть» (с. 66). Подобные утверждения в течение долгих лет квалифицировались как черносотенные выдумки, но ныне отнюдь не черносотенные историки доказали правоту этого вывода.

Впрочем, к фигуре генерала Алексеева мы еще вернемся. Прежде необходимо осознать, что российские масоны были до мозга костей западниками. При этом они не только усматривали все свои общественные идеалы в Западной Европе, но и подчинялись тамошнему могучему масонству. Побывавший в масонстве Г.Я. Аронсон писал: «Русские масоны как бы светили заемным светом с Запада» (Николаевский Б.И., цит. изд., с. 151). И Россию они всецело мерили чисто западными мерками.

По свидетельству А.И. Гучкова, герои Февраля полагали, что «после того как дикая стихийная анархия, улица (имелись в виду февральские беспорядки в Петрограде. – В.К.), падет, после этого люди государственного опыта, государственного разума, вроде нас, будут призваны к власти. Очевидно, в воспоминание того, что... был 1848 год (то есть революция во Франции. – В.К.): рабочие свалили, а потом какие-то разумные люди устроили власть» («Вопросы истории», 1991, № 7, с. 204). Гучков определил этот «план» словом «ошибка». Однако перед нами не столько конкретная «ошибка», сколько результат полного непонимания России. И Гучков к тому же явно неверно характеризовал сам ход событий. Ведь, согласно его словам, «стихийная анархия» – это забастовки и демонстрации, состоявшиеся с 23 по 27 февраля в Петрограде; 27 февраля был образован «Временный комитет членов Государственной Думы»,

а 2 марта – Временное правительство. Но ведь именно оно и осуществило полное уничтожение прежнего государства. То есть настоящая «стихийная анархия», охватившая в конечном счете всю страну и всю армию (а не всего лишь несколько десятков тысяч людей в Петрограде, действия которых были ловко использованы героями Февраля), разразилась уже потом, когда к власти пришли эти самые «разумные люди»...

Словом, российские масоны представляли себе осуществляемый ими переворот как нечто вполне подобное революциям во Франции или Англии, но при этом забывали о поистине уникальной русской свободе – «свободе духа и быта», о которой постоянно размышлял, в частности, «философ свободы» Н.А. Бердяев. В западноевропейских странах даже самая высокая степень свободы в политической и экономической деятельности не может привести к роковым разрушительным последствиям, ибо большинство населения ни под каким видом не выйдет за установленные «пределы» свободы, будет всегда «играть по правилам». Между тем в России безусловная, ничем не ограниченная свобода сознания и поведения – то есть, говоря точнее, уже, в сущности, не свобода (которая подразумевает определенные границы, рамки «закона»), а собственно российская воля вырывалась на простор чуть ли не при каждом существенном ослаблении государственной власти и порождала неведомые Западу безудержные русские «вольницы» – болотниковщину (в пору Смутного времени), разинщину, пугачевщину, махновщину, антоновщину и т. п.

Пушкин, в котором наиболее полно и совершенно воплотился русский национальный гений, начиная по меньшей мере с 1824 года испытывал самый глубокий и острый интерес к этим явлениям, более всего, естественно, к недавней пугачевщине, которой он и посвятил свои главные творения в сфере художественной прозы («Капитанская дочка», 1836) и историографии («История Пугачева», вышедшая в свет в конце 1834 года под заглавием – по предложению финансировавшего издание Николая I – «История Пугачевского бунта»). При этом Пушкин предпринял весьма трудоемкие архивные изыскания, а в 1833 году в течение месяца путешествовал по «пугачевским местам», расспрашивая, в частности, престарелых очевидцев событий 1773–1775 годов.

Но дело, конечно, не просто в тщательности исследования предмета; Пушкин воссоздал пугачевщину с присущим ему и, без преувеличения, только ему всепониманием. Позднейшие толкования, в сравнении с пушкинским, односторонни и субъективны. Более того: столь же односторонни и субъективны толкования самих творений Пушкина, посвященных пугачевщине (яркий пример – эссе Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачев»). Исключение представляет, пожалуй, лишь недавняя работа В.Н. Катасонова («Наш современник», 1994, № 1), где пушкинский образ Пугачева осмыслен в его многомерности. Говоря попросту, пугачевщину после Пушкина либо восхваляли, либо проклинали. Особенно это характерно для эпохи Революции, когда о пугачевщине (а также о разинщине и т. п.) вспоминали едва ли не все тогдашние идеологи и писатели.

Ныне постоянно цитируют пушкинские слова: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», – причем они обычно толкуются как чисто отрицательная, даже уничтожающая характеристика. Но это не столь уж простые по смыслу слова. Они, между прочим, как-то перекликаются с приведенными Пушкиным удивительными словами самого Пугачева (их сообщил следователь, первым допросивший выданного своими сподвижниками атамана, – капитан-поручик Маврин): «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». И в том и в другом высказывании «русский бунт» – то есть своеволие – как-то связывается с волей Бога, который «привел» увидеть или «наказал», – и в целостном контексте пушкинского воссоздания пугачевщины это так и есть.

Кроме того, поставив определения «бессмысленный и беспощадный» после определяемого слова, Пушкин тем самым придал им особенную емкость и весомость; нас как бы побуждают взглядеться, вслушаться в эти определения и осознать их многозначность. «Бессмыслен-

ный» – это ведь значит и бесцельный, самоцельный и, значит, бескорыстный. А особенное ударение на завершающем слове «беспощадный» – разумеется, в связи с пушкинским воссозданием пугачевщины в целом – несет в себе смысл ничем не ограниченной беспощадности, естественно обращаемой и на самих бунтовщиков, и на их вожака, выданного в конце концов на расправу «своими». Это скорее Божья кара, чем собственно человеческая жестокость.

Пушкин обратил внимание на своего рода тайну. Он рассказал, что в конце июля 1774 года, то есть всего за несколько недель до ареста, Пугачев, «окруженный отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам... уже думал о своем спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию». Но, как это ни странно, «никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции... Составлялись отдельные шайки... и каждая имела у себя своего Пугачева...» Словом, «русский бунт» – это по сути своей не чье-либо конкретное действие, но своего рода состояние, вдруг захватившее весь народ, – ничему и никому не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару...

Безудержный «русский бунт» вызывал и вызывает совершенно разные «оценки». Одни усматривают в нем проявление беспрецедентной свободы, извечно присущей (хотя и не всегда очевидной) России, другие, напротив, – выражение ее «рабской» природы: «бессмысленность» бунта свойственна, мол, заведомым рабам, которые даже и в восстании не способны добиваться удовлетворения конкретных практических интересов (как это делают, скажем, западноевропейские повстанцы) и бунтуют, в сущности, только ради самого бунта...

Но подобные одноцветные оценки столь грандиозных национально-исторических явлений вообще не заслуживают серьезного внимания, ибо характеризуют лишь настроенность тех, кто эти оценки высказывает, а не сам оцениваемый «предмет». События, которые так или иначе захватывают народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость...

Необходимо отдать себе ясный отчет в том, что и безоговорочные проклятья, и такие же восхваления «русского бунта» неразрывно связаны с заведомо примитивным и просто ложным восприятием самого «своеобразия» России и, с другой стороны, Запада: в первом случае Россию воспринимают как нечто безусловно «худшее» в сравнении с Западом, во втором – как столь же безусловно «лучшее». Но и то и другое восприятие не имеет действительно серьезного смысла: спор о том, что «лучше» – Россия или Запад, вполне подобен, скажем, спорам о том, где лучше жить – в лесной или степной местности, и даже кем лучше быть – женщиной или мужчиной... и т. п. Пытаться выставить непротиворечивые «оценки» тысячелетнему бытию и России, и Запада – занятие для идеологов, не доросших до зрелого мышления.

Впрочем, пора обратиться непосредственно к 1917 году. Как уже сказано, пугачевщина и разинщина постоянно вспоминались в то время, что было вполне естественно. Вместе с тем на сей раз последствия были совсем иными, чем при Пугачеве, ибо бунтом была захвачена и до основания разложенная новыми правителями армия (которая во время пугачевщины все-таки сохранилась – пусть и было немало случаев перехода солдат и даже офицеров в ряды бунтовщиков). Более того, миллионы солдат, самовольно покидавших – нередко с оружием в руках – армию, стали наиболее действенной закваской всеобщего бунта.

Советская историография пыталась доказывать, что-де основная масса «бунтовщиков» – в том числе солдаты – боролась в 1917 году против «буржуазного» Временного правительства за победу большевиков, за социализм-коммунизм. Но это явно не соответствует действительности. Генерал Деникин, досконально знавший факты, говоря в своих фундаментальных «Очерках русской смуты» о самом широком распространении большевистской печати в армии, вместе с тем утверждал: «Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было... Печать оказывала влияние главным образом на полунинтеллигентскую (весьма незначительную количественно. – В.К.) часть армейского

состава». Что же касается миллионов рядовых солдат, то в их сознании, констатировал генерал, «преобладало прямолинейное отрицание: "Долой!" Долой... вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее "свободную волю" – все долой!».

Нельзя не отметить прямое противоречие в этом тексте: Деникин определяет бунт солдат и как проявление «утробных инстинктов» – то есть как нечто низменное, телесное, животное, и в то же время как порыв к «свободной воле» (для определения этого феномена оказались как бы недостаточными взятые по отдельности слова «свобода» и «воля», и генерал счел нужным соединить их, явно стремясь тем самым выразить нечто «беспредельное»; ср. народное словосочетание «воля вольная»). Но «утробные инстинкты» (например, животный страх перед гибелью) и стремление к безграничной «воле» – это, конечно же, совершенно различные явления; второе подразумевает, в частности, преодоление смертного страха... Таким образом, Деникин, едва ли сознавая это, дал солдатскому бунту и своего рода «высокое» толкование.

Не исключено возражение, что Деникин, мол, исказил реальную картину, ибо не желал признавать внушительную роль ненавистных ему большевиков. Однако, в сущности, то же самое говорил в своих воспоминаниях генерал от кавалерии (с 1912 года) А.А. Брусилов, перешедший, в отличие от Деникина, на сторону большевиков. Бунтовавшие в 1917 году солдатские массы, свидетельствовал генерал, «совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе начала будущей свободной жизни».

Следует привести еще мнение одного серьезно размышлявшего человека, который, по видимому, не участвовал в революционных событиях, был только «страдающим» лицом, в конце концов бежавшим на Запад. Речь идет о российском немце М.М. Гаккебуше (1875–1929), издавшем в 1921 году в Берлине книжку с многозначительным заглавием «На реках Вавилонских: заметки беженца»; при этом он издал ее под таким же многозначительным псевдонимом М. Горелов, явно не желая и теперь, в эмиграции, вмешивать себя лично в политические распри.

В книжке немало всякого рода эмоциональных оценок «беженца», но есть и достаточно четкое определение совершившегося. Напоминая, в частности, о том, что Достоевский называл русский народ «богоносцем», Гаккебуш-Горелов писал, что в 1917 году «мужик снял маску... "Богоносец" выявил свои политические идеалы: он не признает никакой власти, не желает платить податей и не согласен давать рекрутов. Остальное его не касается».

Тут же «беженец» ставил пресловутый вопрос «кто виноват?» в этом мужицком отрицании власти: «Виноваты все мы – сам-то народ меньше всех. Виновата династия, которая наиболее ей, казалось бы, дорогой монархический принцип позволила вывалить в навозе; виновата бюрократия, рабствовавшая и продажная; духовенство, забывшее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов; школа, оскоплявшая молодые души; семья, развращавшая детей, интеллигенция, оплевывавшая родину...». Напомню, что В.В. Розанов еще в 1912 году писал: «У француза – "chere France", у англичан – "Старая Англия". У немцев – "наш старый Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и университет – "проклятая Россия". Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристаёт к партии "ниспровержения" государственного строя...»

Итак, совместные действия различных сил (Гаккебуш обвиняет и саму династию...) развенчали Русское государство, и в конце концов оно было разрушено. И тогда «мужик» отказался от подчинения какой-либо власти, избрав ничем не ограниченную «волю». Гаккебуш был убежден, что тем самым «мужик» целиком и полностью разоблачил мнимость представления о нем как о «богоносце». И хотя подобный приговор вынесли вместе с этим малоизвестным автором многие из самых влиятельных тогдашних идеологов, проблема все-таки более сложна. Ведь тот, кто не признает никакой земной власти, открыт тем самым для «власти» Бога...

Один из виднейших художников слова того времени, И.А. Бунин, записал в своем дневнике (в 1935 году он издал его под заглавием «Окаянные дни») 11(24) июня 1919 года, что «всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были "разбойнички" ... бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся...» (кстати, Бунин в избранном им для своего дневника заглавии перекликнулся – вероятно, не осознавая этого – с приведенными Пушкиным словами Пугачева: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство»). В полнейшем непонимании извечного русского «своеобразия» Бунин усматривает роковой просчет политиков: «Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастью, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом...» (там же, с. 113).

Став и свидетелем, и жертвой безудержного «русского бунта», Бунин яростно проклинал его. Но, как истинный художник, не могущий не видеть всей правды, он ясно высказался – как бы даже против своей воли – о сугубой «неоднозначности» (уж воспользуюсь популярным ныне словечком) этого бунта. Казалось бы, он резко разграничил два человеческих «типа», отделив их даже этнически: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь и Меря» (как бы не желая целиком и полностью проклинать свою до боли любимую Русь, писатель едва ли хоть сколько-нибудь основательно пытается приписать бунтарскую инициативу «финской крови»...). Однако этот тезис тут же опровергается ходом бунинского размышления: «Но (смотрите – Бунин неожиданно возражает этим «но» себе самому! – В.К.) и в том, и в другом (типе. – В.К.) есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: "из нас, как из дерева, – и дубина, и икона" – в зависимости от обстоятельств, оттого, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев» (с. 62).

Выходит, тезис о «двух типах» неверен: за преподобным Сергием шли такие же русские люди, что и за отлученным от Церкви Емелькой, и «облик» русских людей зависит от исторических «обстоятельств» (а не от наличия двух «типов»). И в самом деле: заведомо неверно полагать, что в людях, шедших за Пугачевым, не было внутреннего единства с людьми, которые шли за преподобным Сергием... Бунин говорит о «шаткости», о «переменчивости» народных настроений и обликов, но основа-то была все-таки та же...

Замечательно, что уже после цитированных дневниковых записей, в 1921 году, Бунин создал одно из чудеснейших своих творений – «Косцы» – поистине непревзойденный гимн «русскому (конкретно – рязанскому, есенинскому) мужику», где все же упомянул и о том, что так его ужасало: «... а вокруг – беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством» («гибельная» здесь совершенно точное слово).

Итак, в той беспредельной «воле», которой возжаждал после распада государства и армии народ, было, если угодно, и нечто «богоносное» (вопреки мнению Гаккебуша-Горелова), – хотя весьма немногие идеологи обладали смелостью разглядеть это в «русском бунте».

И все же сколько бы ни оспаривали финал созданной в январе 1918 года знаменитой поэмы Александра Блока, где впереди двенадцати «разбойников-апостолов» является не кто иной, как Христос, решение поэта по-своему незыблемо: «Я, – писал он 10 марта 1918 года, – только констатировал факт: если взглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь "Исуса Христа"...»

Достаточно хорошо известно, что образ «русского бунта» в блоковской поэме многие воспринимали (и воспринимают сейчас) как образ большевизма. Это естественно вытекало из широко распространенного, но тем не менее безусловно ложного представления, согласно которому «русский бунт» XX века вообще отождествлялся с большевизмом (такое понимание

присутствует, в частности, и в бунинских «Окаянных днях», но смысл книги в целом никак не сводим к этому). На деле же – о чем еще будет подробно сказано – «русский бунт» был самым мощным и самым опасным врагом большевиков.

* * *

Разговор о смысле блоковской поэмы отнюдь не уводит нас от главной цели – истинного понимания того, что происходило в России в 1917-м и последующих годах. Необходимо осознать заведомую недостаточность и даже прямую ложность «классового» и вообще чисто политического истолкования Революции. Нет сомнения, что классовые интересы играют очень весомую роль в истории (хотя многие нынешние влиятельные лица – главным образом перевертыши типа тов. Яковлева, еще совсем недавно рьяно утверждавшие именно «классовые» представления об истории, – склонны теперь отрицать это). Но все же Революция – слишком грандиозное и многомерное явление бытия, которое никак нельзя втиснуть в классовые и вообще собственно политические рамки, и в этом одна из главных основ моих дальнейших рассуждений.

Александр Блок в 1920 году с полной определенностью сказал: «...те, кто видит в "Двенадцати" политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой» (т. 3, с. 474). Следует напомнить, что целая когорта тогдашних литераторов, на разные лады призывавших до 1917 года к разрушению Русского государства, а позднее никак не могущих примириться с приходом к власти своих соперников-большевиков, стала обвинять автора «Двенадцати» в восхвалении большевизма.

Между тем большевики воспринимали «Двенадцать» отнюдь не как нечто им близкое, Александр Блок засвидетельствовал, что сестра Л.Д. Троцкого и жена Л.Б. Каменева – О.Д. Каменева (в девичестве Бронштейн), после Октября «руководившая» театрами России, уже 9 марта 1918 года (поэма была опубликована 3 марта) заявила жене поэта, актрисе Л.Д. Блок, которая тогда читала «Двенадцать» с эстрады: «Стихи Александра Александровича ("Двенадцать") – очень талантливое, почти гениальное изображение действительности (то есть несет в себе истину. – В.К.)..., но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся».

Позднее, в 1922 году, Троцкий, также признавая – вероятно, под давлением уже сложившегося в литературных кругах мнения, – что Блок создал «самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма "Двенадцать" останется навсегда», – вместе с тем заявил: «Блок дает не революцию и уж, конечно, не работу ее руководящего авангарда, а сопутствующие ей явления..., по сути, направленные против нее» (там же, с. 101). И Троцкий вообще крайне возмущался тем, что «наши революционные поэты почти сплошь возвращаются вспять к Пугачеву и Разину! Василий Каменский – поэт Разина, а Есенин – Пугачева... плохо и преступно (! – В.К.) то, что иначе они не умеют подойти к нынешней революции, растворяя ее тем самым в слепом мятеже, в стихийном восстании... Но ведь что же такое наша (то есть та, которой руководит Троцкий. – В.К.) революция, если не бешеное восстание против стихийного бессмысленного... против то есть мужицкого корня старой русской истории, против бессцельности ее (нетелеологичности), против ее «святой» идиотической каратаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни... Еще десятки лет пройдут, пока каратаевщина будет выжжена без остатка. Но процесс этот уже начат, и начат хорошо» (там же, с. 91–92).

Примечательно, что Троцкий здесь же цитирует – хотя и неточно – Пушкина: «Пушкин сказал, что наше народное движение – это бунт, бессмысленный и жестокий. Конечно, это барское определение, но в своей барской ограниченности – глубокое и меткое» (с. 91); «бессмысленный» означает, в частности, «бесцельный», о чем и сказал верно Троцкий.

И еще одна цитата из Троцкого: «Для Блока революция есть возмущенная стихия... Для Клюева, для Есенина – пугачевский и разинский бунты... Революция же есть прежде всего борьба рабочего класса за власть, за утверждение власти...» (с. 83).

(Даю в скобках краткое отступление, касающееся двух из названных поэтов. Если Александр Блок воспринимал «русский бунт» в той или иной мере «со стороны», то «преступный», по определению Троцкого, Сергей Есенин ощущал – пусть и в известной степени – свою прямую причастность этому бунту, что, по-видимому, выразилось (хотя и не адекватно) в его словах из автобиографии, написанной 14 мая 1922 года: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее»; и из письма от 7 февраля 1923 года: «Я перестал понимать, к какой революции я принадлежал? Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской... В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Следует обратить внимание на тот факт, что Блок – как и Бунин в «Окаянных днях» – все же в определенной мере склонен был отождествлять большевиков и русский бунт; так, его двенадцать сами говорят друг другу «над собой держи контроль», хотя на деле это требовали от них другие. Между тем у Есенина – хотя бы в его драматической поэме «Страна негодяев» – ясно разграничены русский бунт и ставящий задачей «укротить» его большевик Чекистов-Лейбман.)

Как мы видели, Троцкий полагал, что «русский бунт» по своей сути направлен против той революции, одним из «самых выдающихся вождей» (по определению Ленина) которой он был и которую он (см. выше) считал уместным охарактеризовать как «бешеное (!) восстание» против этого самого беспредельного и (по ироническому определению самого Троцкого) «святого» русского бунта, – «восстание», преследующее цель «утверждения власти».

Но вместе с тем нельзя не видеть, что Троцкий и его сподвижники смогли оказаться у власти именно и только благодаря этому русскому бунту, который означал ликвидацию власти вообще. Большевики ведь, в сущности, не захватили, не завоевали, но лишь подняли выпавшую из рук их предшественников власть; во время Октябрьского переворота даже почти не было человеческих жертв, хотя вроде бы совершился «решительный бой». Но затем жертвы стали исчисляться миллионами, ибо большевикам пришлось в полном смысле слова «бешено» бороться за удержание и упрочение власти...

При этом дело шло как о вертикали власти (новые правящие «верхи» – и «низы», которых еще нужно было «подчинить»), так и об ее горизонтали – то есть об овладении всем гигантским пространством России, ибо распад государственности после Февраля закономерно привел к распаду самой страны.

Александр Блок записал 12 июля 1917 года: «"Отделение" Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за "Великую Россию"...» (т. 7, с. 279). Речь шла о событиях, описанных в «Очерках русской смуты» А.И. Деникина так: «Весь май и июнь (1917 года. – В.К.) протекали в борьбе за власть между правительством (Временным, в Петрограде. – В.К.) и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства (Петроградского. – В.К.), чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой... 12 июня объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат (совет министров)... Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление... дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь...» («Вопросы истории», 1990, № 5, с. 146–147).

В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, где (в Екатеринодаре) возникло «Объединенное правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей», в ноябре – Закавказье (основание «Закавказского комиссариата» в Тифлисе), в декабре – Молдавия (Бессарабия) и Литва и т. д. Провозглашали свою «независимость» и отдельные регионы, губернии и даже уезды! Следует обратить внимание на тот выразительный факт, что позднее против различных «независимых» властей в России

боролись в равной мере и Красная, и Белая армии (например, против правительств Петлюры и Жордании).

Возникновение «независимых государств» с неизбежностью порождало кровавые межнациональные конфликты, в частности в Закавказье. Страдали и жившие здесь русские: «В то время как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, – рассказывал 75 лет назад А.И. Деникин, – в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствий, стояло полумиллионное русское население края (Закавказья. – *В.К.*), а также те, кто, не принадлежал к русской национальности, признавали себя все же российскими подданными. Попав в положение "иностранцев", лишённые участия в государственной жизни... под угрозой суровых законов... о "подданстве"... русские люди теряли окончательно почву под ногами... Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов подносили беззастенчивую хулу на Россию и повествование о "рабстве, насилиях, притеснениях, о море крови, пролитом свергнутой властью"... Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения... "русского владычества"...» (там же, 1992, № 4–5, с. 97).

Важно осознать, что катастрофический распад страны был следствием именно Февральского переворота, хотя распад этот продолжался, конечно, и после Октября.

«Бунт», разумеется, развертывался с сокрушительной силой и в собственно русских регионах.

В советской историографии господствовала точка зрения, согласно которой народное бунтарство между Февралем и Октябрем было-де борьбой за социализм-коммунизм против буржуазной (или хотя бы примиренческой по отношению к буржуазному, капиталистическому пути) власти, а мятежи после Октября являлись, мол, уже делом «кулаков» и других «буржуазных элементов». Как бы в противовес этому в последнее время была выдвинута концепция всенародной борьбы против социализма-коммунизма в послеоктябрьское время – концепция, наиболее широко разработанная эмигрантским историком и демографом М.С Бернштамом.

И та и другая точки зрения (и сугубо советская, и столь же сугубо «антисоветская») едва ли верны. О том, что «русский бунт» после Февраля вовсе не был по своей сути социалистически-коммунистическим, уже не раз говорилось выше. Но стоит процитировать еще суждения очень влиятельного и осведомленного послефевральского деятеля В.Б. Станкевича (1884–1969). Юрист и журналист, затем офицер (во время войны), он был ближайшим соратником Керенского и по масонской, и по правительственной линии, являлся членом ЦИК Петроградского Совета и одновременно одним из главных военных комиссаров Временного правительства, но довольно рано понял обреченность героев Февраля. В своих весьма умных мемуарах, изданных в 1920 году в Берлине, он писал, что после Февраля «масса... вообще никем не руководится... она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации...».

Станкевич размышлял о солдатах, взбунтовавшихся в феврале: «С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинувшись какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги... Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт (Станкевич явно счел даже это слово слишком «узким» для обозначения того, что происходило. – *В.К.*), а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось серыми толпами на улицах».

Советская историография пыталась доказывать, что это «стихийное движение» было по своей сути «классовым» и вскоре пошло-де за большевиками. А нынешний «антисоветский»

историк М.С. Бернштам, напротив, настаивает на том, что после Октября народное движение было всецело направлено против социализма-коммунизма (ту же точку зрения – независимо от этого эмигранта – выдвигал в ряде недавних своих сочинений и В.А. Солоухин).

Бунин, который прямо и непосредственно наблюдал «русский бунт», словно предвидя появление в будущем сочинений, подобных бернштамовскому, записал в дневнике 5 мая 1919 года: «... мужики... на десятки верст разрушают железную дорогу (будто бы для того, чтобы «не пропустить» коммунизм. – В.К.). Плохо верю в их "идейность". Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как "борьба народа с большевиками" ... дело заключается... в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч...» (указ. соч., с. 112).

Нельзя не заметить, что М.С. Бернштам – по сути дела, подобно ортодоксальным советским историкам – предлагает «классовое» или, во всяком случае, политическое толкование «русского бунта» (как антикоммунистического), хотя и «оценивает» антикоммунизм совсем по-иному, чем советская историография. В высшей степени характерно, что он опирается в своей работе почти исключительно на большевистские тезисы и исследования. «В.И. Ленин... – с удовлетворением констатирует, например, М.С. Бернштам, – указывал, что эта сила крестьянского и общенародного повстанчества, или, в его терминах, мелкобуржуазной стихии, оказалась для коммунистического режима опаснее всех белых армий, вместе взятых». Действительно, В.И. Ленин – кстати сказать, в полном согласии с приведенными выше суждениями Л.Д. Троцкого – не раз утверждал, что «мелкобуржуазная анархическая стихия» представляет собой «опасность, во много раз (даже так! – В.К.) превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе» (т. 43, с. 18), что она – «самый опасный враг пролетарской диктатуры» (там же, с. 32).

Ссылается М.С. Бернштам и на множество работ советских историков, в том числе самых что ни есть «догматических». Так, он пишет: «Источники насчитывают сотни восстаний по месяцам сквозь всю войну 1917–1922 годов. Советский историк Л.М. Спиринов обобщает: «С уверенностью можно сказать, что не было не только ни одной губернии, но и ни одного уезда, где бы не происходили выступления и восстания населения против коммунистического режима». Правда, М.С. Бернштаму, очевидно, не понравились классовые оценки Л.М. Спирина, и он при «цитировании» попросту заменил их своими: у советского историка вместо неопределенного «населения» сказано: «кулаков, богатых крестьян и части середняков». Между тем, добавив опять-таки от себя в цитату из Л.М. Спирина слова «против коммунистического режима», М.С. Бернштам сам таким образом встал именно на «классовую», чисто «политическую» точку зрения – «население» восставало, мол, против определенного строя, а не против любой, всякой власти.

Но взглянем в также опирающееся на бесспорные факты «обобщение» другого советского историка, Е.В. Иллерицкой: «К ноябрю 1917 г. (то есть к 25 октября/7 ноября. – В.К.) 91,2 % уездов оказались охваченными аграрным движением, в котором все более преобладали активные формы борьбы, превращавшие это движение в крестьянское восстание. Важно отметить, что карательная политика Временного правительства осенью 1917 г...перестала достигать своих целей. Солдаты все чаще отказывались наказывать крестьян...»

Итак, хотя Временное правительство не насаждало коммунизм, бунт и при нем имел всеобщий характер (91,2 % всех уездов!). Но, пожалуй, еще выразительнее тот факт, что и после Октября «русский бунт» обращался вовсе не только против красных, но и против белых властей! Об этом, кстати сказать, упоминает, правда, бегло – и сам М.С. Бернштам. Не желая, надо думать, совсем закрыть глаза на реальное положение дела, он пишет, что народное повстанчество 1918–1920 годов являло собой «сражение и против красных, и против белых» (с. 18), и в глазах народа «белые такие же насильники, как и красные» (с. 74). Но тем самым, в сущности, всецело подрывается его общая концепция, согласно которой бунт был направлен именно

против «коммунизма»; он был направлен против всякой власти вообще и, в частности, против любых видов «податей» и «рекрутства» (пользуясь вышеприведенными определениями Гаккебуша-Горелова), без которых и немисливо существование государственности.

После разрушения веками существовавшего Государства народ явно не хотел признавать никаких форм государственности. Об этом горестно писал в феврале 1918 года видный меньшевистский деятель, а впоследствии один из ведущих советских дипломатов И.М. Майский (Пяховецкий, 1884–1975): «...когда великий переворот 1917 г. (имеется в виду Февраль. – В.К.) смел с лица земли старый режим, когда раздались оковы и народ почувствовал, что он свободен, что нет больше внешних преград, мешающих выявлению его воли и желаний, – он, это большое дитя, наивно решил, что настал великий момент осуществления тысячелетнего царства блаженства, которое должно ему принести не только частичное, но и полное освобождение».

Оставим в стороне выражения вроде «большое дитя» (поистине детскую наивность проявили как раз вожаки Февраля, совершенно не понимавшие, чем обернется для них самих разрушение Государства); существенна мысль о «блаженной» беспредельной воле, мечта о которой всегда жила в народных глубинах и со всей очевидностью воплотилась в русском фольклоре – и во множестве лирических песен, и в заветных сказках о не подвластных никому и ничему Иванушке и тезке Пугачева – Емеле...

Но совершенно ясно (об этом уже шла речь выше), что при таком безгранично вольном, пользуясь модным термином, «менталитете» народа само бытие России попросту невозможно, немисливо без мощной и твердой государственной власти; власть западноевропейского типа, о коей грезил герои Февраля, для России заведомо и полностью непригодна.

И, взяв в Октябре власть, большевики в течение длительного времени боролись вовсе не за социализм-коммунизм, а за удержание и упрочение власти, – хотя мало кто из них сознавал это с действительной ясностью. То, что было названо периодом «военного коммунизма» (1918 – начало 1921 года), на деле являло собой «бешеную», по слову Троцкого, борьбу за утверждение власти, а не создание определенной социально-экономической системы; в высшей степени характерно, что, так или иначе утвердив к 1921 году границы и устои государства, большевики провозгласили «новую экономическую политику» (нэп), которая в действительности была вовсе не «новой», ибо, по сути дела, возвращала страну к прежним хозяйственным и бытовым основам. Реальное «строительство» социализма-коммунизма началось лишь к концу 1920-х годов.

Сами большевики определяли нэп как свое «отступление» в экономической сфере, но это, в сущности, миф, ибо «отступать» можно от чего-то уже достигнутого. Между тем к 1921 году подавляющее большинство – примерно 90 процентов – промышленных предприятий просто не работало (ни по-капиталистически, ни по-коммунистически), а крестьяне работали и жили, в общем, так же, как и до 1917 года (хотя имели до 1921 года очень мало возможностей для торговли своей продукцией). Слово «отступление» призвано было, в сущности, «успокоить» тех, кто считал Россию уже в каком-то смысле социалистически-коммунистической страной: Россия, мол, только на некоторое время вернется от коммунизма к старым экономическим порядкам.

Подлинно глубокий историк и мыслитель Л.П. Карсавин, высланный за границу в ноябре 1922 года, писал в своем трактате, изданном в следующем же, 1923 году в Берлине: «Тысячи наивных коммунистов... искренне верили в то, что, закрывая рынки и "уничтожая капитал", они вводят социализм... Но разве нет непрерывной связи этой политики с экономическими мерами последних царских министров, с программой того же Риттиха (министр земледелия в 1916-м – начале 1917 г. – В.К.)? Возможно ли было в стране с бегущей по всем дорогам армией, с разрушающимся транспортом... спасти города от абсолютного голода иначе, как реквизируя и распределяя, грабя банки, магазины, рынки, прекращая свободную торговлю? Даже

этими героическими средствами достигалось спасение от голодной смерти только части городского населения и вместе с ним правительственного аппарата: другая часть вымирала. И можно ли было заставить работать необходимый для всей этой политики аппарат – матросов, красноармейцев, юнцов-революционеров иначе, как с помощью понятных и давно знакомых им по социалистической пропаганде лозунгов?., коммунистическая идеология (так называемый «военный коммунизм». – *В.К.*) оказалась полезной этикеткой для жестокой необходимости... И немудрено, что, плывя по течению, большевики воображали, будто вводят коммунизм».

В свете всего этого становится ясно, что народ в первые годы после Октября (как и после Февраля) оказывал сопротивление новой власти (причем любой власти – и красных, и белых), а не еще не существовавшему тогда социализму-коммунизму. И главная, поглощающая все основные усилия задача большевиков состояла тогда – хотя они мало или даже совсем не осознавали это – в утверждении и укреплении власти как таковой.

Михаил Пришвин – единственный из крупнейших писателей, проживший все эти годы в деревне, – записал 11 сентября 1922 года: «...крестьянин потому идет против коммуны, что он идет против власти».

В связи с этим в высшей степени уместно обратиться к высказываниям одного из наиболее выдающихся руководителей и идеологов черносотенства – Б.В. Никольского. Через два месяца после Октябрьского переворота этот ученик и продолжатель Константина Леонтьева писал (29 декабря 1917/11 января 1918 года): «Патриотизм и монархизм одни могут обеспечить России свободу, законность, благоденствие, порядок и действительно демократическое устройство...» – и выдвигал предположение, что «теперь самый иступленный большевик начинает признавать не только правизну, но и правоту моих убеждений». Это, конечно, было слишком, так сказать, лестное для большевиков предположение; за редчайшими исключениями, они не имели ни силы, ни смелости мышления, чтобы осознать это. И позднее, в октябре следующего, 1918 года, Б.В. Никольский так писал о большевиках:

«В активной политике они с нескудеющей энергией занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе, созидая вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают...» Вместе с тем, продолжал Никольский, «разрушение исторически неизбежно, необходимо: не оживет, еще не умрет... Ни лицемерия, ни коварства в этом смысле в них (большевиках. – *В.К.*) нет: они поистине орудия исторической неизбежности... лучшие в их среде сами это чувствуют как кошмар, как мурашки по спине, боясь в этом сознаться себе самим; с другой стороны, в этом их Немзида; несите тяготы власти, захватив власть! Знайте шапку Мономаха!..» И далее: «...они все поджигают и опрокидывают; но среди смердящих и дымящихся пожарищ будет необходимо строить с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей, – а у них (большевиков. – *В.К.*) никого, кроме обезумевшей толпы» (там же, с. 271–272).

Комментируя эти суждения Б.В. Никольского, их публикатор С.В. Шумихин утверждает, что они-де «дают основание пересмотреть традиционную для отечественной историографии... схему, согласно которой монархисты всех оттенков – от умеренных консерваторов до черносотенцев – автоматически оказывались на противоположном от большевиков полюсе и а priori зачислялись в разряд их непримиримых врагов». Между тем, возражает С.В. Шумихин, «осмысление событий привело его (Б.В. Никольского. – *В.К.*) к позиции сочувственного нейтралитета по отношению к советской власти. Быть может, в его сознании вырисовывались контуры возможного черносотенно-большевистского симбиоза. Однако этим чаяниям не суждено было сбыться» (с. 341, 347).

Тезис о подобном «симбиозе» отнюдь не какая-либо новинка (хотя неосведомленным людям он может показаться таковой). Многие либералы после Октября пытались уверять, что-де Ленин, Свердлов, Троцкий, Зиновьев и др. действуют совместно с черносотенцами, хотя ни

одного имени реальных сподвижников большевизма из числа вожаков Союза русского народа и т. п. при этом, понятно, никогда не было названо. Дело заключалось в том, что черносотенцы к 1917 году были «очернены» до немыслимых пределов, и присовокупление их к большевикам имело целью окончательно, так сказать, дискредитировать последних. И сегодня этот прием снова пущен в оборот.

И С.В. Шумихин явно не хочет обращать внимания на тот факт, что Б.В. Никольский с полной определенностью говорит здесь же о невозможности какого-либо своего сближения с большевиками: «Делать то, что они делают, я по совести не могу и не стану; сотрудником их я не был и не буду», – подчеркивает он и, заявляя тут же, что «я не иду и не пойду против них», объясняет свой «нейтралитет» тем, что большевики – «неудержимые и верные исполнители исторической неизбежности... и правят Россией... Божиим гневом и попусшением... Они власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю Промысла, хотя сама того не хочет и не думает» (с. 372) – и отмечает еще:

«Враги у нас (с большевиками. – В.К.) общие – эсеры, кадеты и до октябристов включительно» (с. 371). Ранее он писал: «Чем большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов?... Россияю правят сейчас карающий Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее зияющих ранах» (с. 360).

Необходимо уяснить кардинальное, коренное отличие взглядов черносотенца от позиций либералов и противостоявших большевикам революционеров (прежде всего эсеров).

Если не считать отдельных и запоздалых «исключений», герои Февраля, в сущности, не признавали своей вины в разрушении Русского государства. Они пытались уверять, что содеянное ими было в своей основе – не считая тех или иных «ошибок» – вполне правильным и всецело позитивным. Беда, по их мнению, состояла в том, что русский народ оказался недостойн их прекрасных замыслов и пошел за большевиками, каковые все испортили... И «выход» либералы и революционеры усматривали в непримиримой борьбе с большевиками за власть – то есть в гражданской войне...

Б.В. Никольский, напротив, принимал вину даже и на самого себя: большевики, по его словам, «власть, которая нами заслужена», и добавлял, что «глубока чаша испытаний и далеко еще до дна. Доживу ли я до конца – кто знает (Борис Владимирович был без суда расстрелян в конце июля или в начале августа 1919 года. – В.К.). Да, великие требования предъявляет к нам история, и только претерпевший до конца, той спасется...

Страданий полон путь безвестный,
Темнее ночь,
И мы должны под ношей крестной
Не изнемочь...» (с. 373).

Поэтические строки Б.В. Никольского невольно побуждают вспомнить о стихотворении другого черносотенного деятеля, С.С. Бехтеева (1879–1954), – стихотворении, которое, как известно, перед своей гибелью потрясенно читала и переписывала семья Николая II:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей...
И в дни мятежного волнения,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!..

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!

Итак, Б.В. Никольский, утверждая, что власть большевиков – это беспощадная кара, заслуженная Россией (в том числе и им лично), что они «правят Россией Божиим гневом», вместе с тем признает, что большевики все-таки, в отличие от тех, кто оказался у власти в Феврале, – «правят», все-таки «строят» государство, – притом строят «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никаким прежним деятелям»; ведь после Февраля в стране нет «никого, кроме обезумевшей толпы». И он определяет большевиков вроде бы лестно – «верные исполнители исторической неизбежности», но ни в коей мере не «сочувственно», вопреки утверждению С.В. Шумихина. Верно предвидя грядущее (что вообще было присуще черносотенцам, не увлекавшимся всякого рода прожектами), Б.В. Никольский уже в апреле 1918 года писал о неизбежном будущем подавлении Революции ею же порожденным «цезаризмом», но отнюдь не собирался «присоединяться» и к этому цезаризму.

«Царствовавшая династия кончена... – утверждал он. – Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом, т. е. таким же отрицанием монархической идеи, как революция (мысль исключительно важная. – В.К.). До настоящей же монархии, неизбежной, благодатной и воскресной... далеко, и путь наш тернист, ужасен и мучителен, а наша ночь так темна, что утро мне даже не снится» (с. 360). (Из последних слов вполне ясно, что Никольский, вопреки утверждениям Шумихина, никаких своих надежд на большевиков не возлагал).

Известно, что о закономерном приходе «цезаря», или «бонапарта», писали многие – например, В.В. Шульгин и так называемые сменовеховцы. Но, во-первых, это было позднее, уже после окончания Гражданской войны и провозглашения нэпа (а не в начале 1918 года!), а во-вторых, люди, подобные В.В. Шульгину и сменовеховцам, выражали свою готовность присоединиться к этому «цезаризму», усматривая в нем нечто якобы вполне соответствующее русскому духу. Б.В. Никольский же видел в будущем «цезаре» такое же «отрицание» подлинной патриотической идеи, как и в самой Революции.

Очевидно, что Б.В. Никольскому даже и «не снился» какой-либо «черносотенно-большевистский симбиоз» – хотя публикатор его писем и пытается внушить их читателям обратное. Б.В. Никольский ведет речь лишь о том, что большевики самым ходом вещей вынуждены – «вопреки своей воле и мысли» – строить государство (и по горизонтали, то есть собирая распавшиеся части России, и по вертикали, создавая властные структуры в условиях безудержного «русского бунта») и полной мерой «нести тяготы власти». А Б.В. Никольский со всей ясностью сознавал, что без мощной и прочной государственности попросту немислимо само существование России. И потому как истинный патриот, для которого Россия – «превыше всего», Б.В. Никольский заявил: «я не иду и не пойду против них» (большевиков).

И в то время, и сегодня, конечно же, могло и может прозвучать решительное и негодующее возражение, что-де Белая армия боролась именно за Россию и каждый патриот должен был именно в ее рядах сражаться против большевиков, за Россию.

* * *

Вопрос о Белой армии необходимо уяснить со всей определенностью. Во-первых, никак нельзя оспорить того факта, что все главные создатели и вожди Белой армии были по самой своей сути «детьми Февраля». Ее основоположник генерал М.В. Алексеев (с августа 1915-го до февраля 1917-го – начальник штаба Верховного главнокомандующего, то есть Николая II; после переворота сел на его место) был еще с 1915 года причастен к заговору, ставившему

целью свержение Николая II, а в 1917-м фактически осуществил это свержение, путем жесткого нажима убедив царя, что петроградский бунт непреодолим и что армия-де целиком и полностью поддерживает замыслы масонских заговорщиков.

Главный соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным фронтом генерал Н.В. Рузский (который прямо и непосредственно «давил» на царя в февральские дни), позднее признал, что Алексеев, держа в руках армию, вполне мог прекратить февральские «беспорядки» в Петрограде, но «предпочел оказать давление на Государя и увлек других главнокомандующих». А после отречения Государя именно Алексеев первым объявил ему (8 марта): «...Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным»... Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева» (там же, с. 78, 79); впрочем, еще в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кругом измена, и трусость, и обман!»

Как уже говорилось, Н.Н. Берберова утверждала, что и М.В. Алексеев, и Н.В. Рузский были масонами и потому, естественно, стремились уничтожить историческую государственность России. Виднейший современный историк российского масонства В.И. Старцев, в отличие от Н.Н. Берберовой, полагает, что «факт» принадлежности этих генералов к масонству «пока еще не доказан», хотя и не исключает сего факта, признавая, в частности, достоверность сообщений, согласно которым Н.В. Рузский участвовал в масонских собраниях в доме своего двоюродного брата, профессора Д.П. Рузского – одного из лидеров масонства, секретаря его Петроградского совета (там же, с. 144, 153).

П.Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал «план ареста царицы (ее считали главной «вдохновительницей» Николая II. – В.К.) в ставке и заточения». А особенно осведомленный Н.Д. Соколов сообщил, что 9 (22) февраля 1917 года Н.В. Рузский вместе с заправилami будущего переворота обсуждал проект, предусматривавший, что Николая II по дороге из ставки в Царское Село «задержат и заставят отречься» (там же, с. 96) – как это в точности и произошло 2–3 марта...

Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I великий князь Александр Михайлович (1866–1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли «отцом русской военной авиации», писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: «Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя».

Итак, нельзя с полной уверенностью утверждать (поскольку нет неопровержимых сведений), что создатель Белой армии М.В. Алексеев был членом масонской организации, но, как свидетельствовал А.И. Гучков – и скрупулезный историк В.И. Старцев не оспаривает это свидетельство, – генерал «был настолько осведомлен, что делался косвенным участником» (то есть участником заговора масонов-«февралистов»).

Что же касается других главных вождей Белой армии, генералов А.И. Деникина и Л.Г. Корнилова и адмирала А.В. Колчака, – они так или иначе были единомышленниками Алексева. Все они сделали блистательную карьеру именно после Февраля. Военный министр в первом составе Временного правительства, Гучков вспоминал, как ему трудно было назначать на высшие посты Корнилова и Деникина. О Корнилове Гучков говорил: «Его служебная карьера была такова: он в боях командовал только дивизией; командование корпусом (с конца 1916 года. – В.К.), откуда я взял его в Петербург, происходило в условиях отсутствия вооруженных столкновений. Поэтому такой скачок... до командования фронтом считался недопустимым» (там же, с. 12). Тем не менее в самый момент переворота Корнилов стал командующим важнейшим Петроградским военным округом, 7 июля – командующим Юго-Западным фронтом, а 19 июля Керенский назначил его уже Главкомом!

То же относится и к Деникину, который вскоре после Февраля стал начальником штаба Главкомом (то есть занял пост, который до Февраля занимал Алексеев); Гучков отметил, что

«иерархически это был большой скачок... только что командовал (Деникин. – *В.К.*) дивизией или корпусом» (там же, с. 10); говоря точнее, генерал до сентября 1916 года был командиром (начальником) дивизии, а затем – до переворота – командовал корпусом на второстепенном Румынском фронте. Дабы стало ясно, какую головокружительную карьеру сделали в Феврале Корнилов и Деникин, приведу выразительные цифры, установленные А.Г. Кавтарадзе: в Русской армии к 1917 году было ни много ни мало 68 командиров (начальников) корпусов и 240 – дивизий. При этом очень значительная часть этих военачальников после Февральского переворота была – в противоположность беспрецедентному взлету Корнилова и Деникина – изгнана из армии. Сам Деникин писал об этом так: «Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов... В течение нескольких недель были уволены... до полтора ста старших начальников» («Вопросы истории», 1990, № 7, с. 107, 108), то есть около половины...

А.В. Колчак занимал до Февраля более высокий пост, чем Деникин и Корнилов: с июня 1916 года он был командующим Черноморским флотом. Но, как утверждает В.И. Старцев, «командующие флотами... Непенин и Колчак были назначены на свои должности благодаря ряду интриг, причем исходной точкой послужила их репутация – либералов и оппозиционеров».

Последний военный министр Временного правительства генерал А.И. Верховский (человек, конечно, весьма «посвященный», хотя и, насколько известно, не принадлежавший к масонству) писал в своих мемуарах: «Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе». И когда в июне 1916 года Колчак стал командующим Черноморским флотом, «это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинут в нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору... Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских. – *В.К.*) кругов». А в Феврале и «партия эсеров мобилизовала сотни своих членов – матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака... Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции». Вскоре Временное правительство производит Колчака в «полные» адмиралы.

Далее, все будущие вожди Белой армии имели впечатляющие «революционные заслуги». Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и детей Николая II.

Нельзя не упомянуть и об еще одной «революционной» акции Лавра Георгиевича. Реальным началом Февральской революции явился бунт располагавшейся в Петрограде учебной команды лейб-гвардии (!) Волынского полка. Ранним утром 27 февраля 1917 года начальник этой команды штабс-капитан Пашкевич, придя в казарму, попытался повести солдат в город для пресечения вызванных продовольственными трудностями «беспорядков». Фельдфебель Кирпичников, который заранее распропагандировал солдат, потребовал от офицера покинуть казарму, а затем или он сам, или, может быть, кто-то из солдат (мнения расходятся, так как бунтовщики, по-видимому, договорились о круговой поруке) убил штабс-капитана выстрелом в спину. После этого «повязанные кровью» солдаты взбунтовались и сумели присоединить к себе расположенные по соседству лейб-гвардии Преображенский и Литовский полки, что окончательно решило победу революции.

Как бы ни оценивать Февральскую революцию, убийство офицера выстрелом в спину едва ли являло собой геройское деяние. Тем не менее назначенный 2 марта командующим Петроградским военным округом генерал-лейтенант Корнилов лично награбил Кирпичникова Георгиевским крестом...

Правда, «герой» оказался слишком простодушным человеком. Летом следующего, 1918 года, когда ситуация была уже совсем иной, он отправился на Дон, в Добровольческую армию,

возглавляемую наградившим его Корниловым, но ближайший тогда сподвижник Корнилова, А.П. Кутепов, в штаб дивизии которого заявился Кирпичников, приказал без каких-либо разбирательств расстрелять этого героя Февраля. Наградивший же его Корнилов никакого наказания за это не получил, что едва ли справедливо... (см., напр.: Иоффе Г.З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989, с. 38).

Но вернемся к 7 марта, когда Корнилов лично арестовал императорскую семью. На следующий день, 8 марта, словно вступая в соревнование с подчиненным ему Корниловым, генерал от инфантерии Алексеев в Могилеве объявил об аресте самому императору и сдал его думскому конвою. Затем в Крыму заместитель Колчака (которого как раз в этот момент вызвало в Петроград Временное правительство) контр-адмирал В.К.Лукин руководил арестом находившихся там великих князей, в том числе только что упоминавшегося Александра Михайловича (см.: Верховский А.И., цит. соч., с. 239–240).

Все это достаточно ясно характеризует политическое лицо будущих вождей Белой армии. Могут, конечно, возразить, что позднее эти люди изменили свои убеждения: ведь уже в августе 1917 года Керенский объявил их «контрреволюционерами» и даже приказал арестовать Деникина и Корнилова (как ни парадоксально, арест его осуществил Алексеев, который был тогда начальником штаба Главковерха – Керенского, а всего через три с половиной месяца Алексеев и Корнилов возглавили Добровольческую, то есть Белую, армию).

Но это было, по сути дела, противостояние в одном «февральском» стане; конфликт объяснялся главным образом тем, что Керенский, сознавая свое бессилие в условиях нарастающего с каждым месяцем «русского бунта», усматривал выход в «компромиссах» и с ним, и с использующими в своих целях этот бунт большевиками. Особенное возмущение в военной среде вызвал тот факт, что, отдав приказ об аресте Корнилова, Керенский одновременно приказал освободить Троцкого (который был арестован в связи с июльским выступлением большевиков и провел в заключении сорок дней).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.